

Юлиан Семенович Семенов
НЕНАПИСАННЫЕ РОМАНЫ



ebooks@prospekt.org

Ненаписанные романы

Вместо предисловия

Хочу предложить вниманию читателей короткие сюжеты из “Ненаписанных романов”, которые уже никогда не станут романами: не успею, увы.

В новеллах нет вымысла: они построены на встречах с живыми свидетелями и участниками описываемых событий.

Литератор не прокурор. Он имеет право на свою версию истории, хотя высшее право беспристрастного судьи присуще именно Истории. Стремление к однозначным оценкам скрывает неуверенность в себе или страх перед мыслью. Лишь те выводы, к которым человек приходит самостоятельно, единственно и формируют его нравственную позицию.

Главное, что меня занимало, когда я работал над этой вещью, — это проблема неограниченной власти в годы, именуемые сейчас периодом культа личности.

Механика такого рода власти, ее непреклонная и неконтролируемая воля, низводящая гражданина великой страны до уровня “винтика”, — вот что трагично и

тревожно, вот что следует в первую очередь анализировать — без гнева и пристрастия.

Понимание такого рода феномена должно помочь наработать в каждом из нас гражданское противодействие даже легчайшим рецидивам возможности возрождения чего-либо подобного в той или иной форме.

Сталин читал работы Сергея Булгакова еще до того, как тот был выслан в Париж и стал протоиереем; строй Рассуждений философа казался ему любопытным, в нем не было ничего от убеждающе-стремительной легкости Бердяева, которая болезненно его раздражала, потому что в ней он чувствовал нечто похожее на стиль Троцкого — такая же парадоксальность, раскованность, блеск; естественно, это привлекает к нему широкого читателя, жаль.

Булгаков был ближе к надежной теологической доказательности; очень русский, оттого постоянно искал исток духовности и правды; именно у него Сталин как-то прочитал длинную цитату из Библии без сноски на страницу; это помогло ему на диспуте с лидером меньшевиков Ноем Жордания: когда стало очевидно, что легендарный “Костров” берет над ним верх, Сталин процитировал пассаж, абсолютно подтверждавший его правоту, сказав слушателям, что он оперировал выдержкой из Маркса, — это и решило исход дела; изумленный Абель Енукидзе спросил: “Из какой работы ты это взял, Коба?” Сталин усмехнулся: “Пусть ищут! Откуда я знаю? Главное сделано, люди пошли за нами”.

Поэтому, узнав, что Политпросвет не разрешает МХАТу показ пьесы Михаила Булгакова, — как говорят, родственника столь уважаемого им православного философа, — Сталин попросил Мехлиса позвонить Луначарскому и предупредить наркома, чтобы без его, Сталина, посещения театра окончательного решения по пьесе не принимать: “Хочу посмотреть сам”.

...Он тяжело страдал от того, что в свое время высказался против привлечения Троцким военспецов в Красную Армию: “Опасно давать командирские звания бывшим офицерам-золотопогонникам; сколько волка ни корми — в лес смотрит!” Он полагал, что его поддержат Дзержинский, первый красный главком Крыленко, Антонов-Овсеенко с Раскольниковым, Невским, Дыбенко и Подвойским: не могут же первые народные комиссары Армии и Флота так легко уступить свое место “команде” Троцкого, все же каждым движет не только понятие чести, но и память, неужели так легко отдадут то, что по праву принадлежит им?

Однако и Подвойский, и Крыленко с Раскольниковым, и Дыбенко с Антоновым-Овсеенко согласились с доводами Троцкого; наверняка запомнили его, Сталина, возражение, именно поэтому, вероятно, главком Вацетис и его штаб так настороженно относились к нему во

время сражения против Колчака.

...Время кидать камни и время собирать камни, воистину так. Сейчас, когда Троцкий, Каменев и Зиновьев потеряли свои позиции в ЦК, именно он, Сталин, должен приблизить к себе буржуазных спецов в сфере культуры; Горький позволил себе стать эмигрантом; таким образом, его детище, ЦЕКУБУ [Центральная комиссия улучшения быта ученых. — Здесь и далее прим. авт.], вполне может послужить его, Сталина, целям: буржуазные деятели культуры — при том, что маскируются, таят в себе заряд русской государственной идеи, а это надежный заслон против “мировой революции” Троцкого и иже с ним; русский народ не сможет не оценить этого — в будущем, понятно; торопиться негоже, выдержка и еще раз выдержка, только она являет собою вернейшую константу окончательной победы... Он мучительно, до щемящей боли в сердце, сознавал, что ему ничего не остается, кроме как ждать: он не мог, не имел права выйти на общесоюзную трибуну до тех пор, пока рядом Бухарин — с его эрудицией, раскрепощенностью, с блестящим русским языком; пока приходится терпеть Луначарского, пока в народе свежа память о зажигательных речах бывшего Предреввоенсовета Троцкого — никакого акцента, фейерверк мыслей, какое-то странно-вольготное отношение к чувству собственного

достоинства на трибуне...

...И ведь снова он, именно он, Троцкий, — в пику мнению большинства ЦК выступил с эссе о “талантливом русском поэте Сергее Есенине”; снова оказался впереди, хотя потерял и Армию, и Политбюро. Однако популярность — с ним; ведь именно он заступился за русского поэта; ничего, когда перестанем печатать Есенина, то и статью Троцкого забудут... Пусть порезвится; сжать зубы и ждать, уж недолго осталось...

С его, Сталина, акцентом, с его директивностью стиля и чувством гордой ответственности за каждое произнесенное слово (Мехлис — надежный редактор, недаром его так не любят; ясное дело, зависть: не у них, а у него, Сталина, такой помощник), сейчас надо готовить поле боя, но не выходить на него, рано, народ не созрел еще, он должен устать от дискуссий и свободы, он должен возжаждать единого вождя — кто знает русских, как не он, Сталин?!

Итак, Сталин приехал на закрытый спектакль во МХАТ; в ложе рядом с ним сидели Станиславский, Немирович-Данченко, начальник ПУРККА Бубнов; наркома Луначарского, Крупскую, Ульянову не пригласили, Мехлис вызвал завагитпромом Стецкого, замзавотделом Кагановича и Николая Ежова.

Сталин оглядел зал: множество знакомых лиц; ясно, собрали аппарат.

После первого акта, когда медленно дали свет, зрители обернулись на ложу, стараясь угадать реакцию Сталина; он, понимая, чего ждут все эти люди, нахмурился, чтобы сдержать горделивую — до холодка в сердце — улыбку; медленно поднялся, вышел в квартирку, оборудованную впритык к правительственной ложе; заметив ищущий, несколько растерянный взгляд Станиславского, устало присел к столу, попросил стакан чаю; на смешливый вопрос Немировича-Данченко — “Ну как, товарищ Сталин? Нравится?” — и вовсе не ответил, чуть пожав плечами.

И после второго акта он видел взгляды зала, обращенные к нему: аплодировать или свистеть? Он так же молча поднялся и ушел, не позволив никому понять себя, — много чести, учитесь выдержке. С острой неприязнью мазанул быстрым взглядом лицо Сольца, члена ЦКК; ишь, “совесть партии”; а как Старик склонен к политическим спектаклям?! Дело в том, что Мехлис доложил ему: Сольц, ехавший в ЦК, как всегда, на трамвае, зачитался книгой и не заметил свою остановку. Легко вскочив с места, бросился к выходу; здоровенный верзила с мутным, похмельным взглядом закрывал проход.

— Товарищ, разрешите, пожалуйста, — обратился к нему Сольц.

Тот осклабился:

— Куда торопишься, юркий?! Больно шустрый!

Сольц не понял потаенный смысл сказанного, повторил просьбу. Верзила зло осклабился:

— Подождешь, жиденыш!

Стоявший неподалеку милиционер усмехнулся:

— Дапусти ты старика пархатого.

— Как же вам не стыдно?! — тихо сказал Сольц, обернувшись к милиционеру. Что можно пьянице, то непозволительно вам, представителю Советской власти.

Милиционер лениво посмотрел на пассажиров:

— Все слышали, товарищи? Слышали, как при вас оскорбили красного милиционера?! — И, не дождавшись ответа, взял Сольца за руку и подтолкнул его к выходу...

В отделении дежурный выслушал

милиционера, потом обернулся к Сольцу и попросил дать показания; Сольц рассказал все, как было. Дежурный пожал плечами:

— Конечно, про жида нехорошо, но мы не позволим оскорблять красного милиционера!

Сольц потребовал встречи с начальником отделения; тот слушать его не стал, махнул рукой:

— Нечего оскорблять наших людей, они же вас и защищают, в камеру его!

— Я хочу позвонить Дзержинскому, — сказал Сольц, — немедленно!

Все трое рассмеялись:

— Только что и дел до вас Феликсу Эдмундовичу!

И только после этого Сольц достал трясущимися руками свое удостоверение; имя этого политкаторжанина, героя революции, ленинца было известно всем. Он позвонил Дзержинскому. Через двадцать минут Феликс Эдмундович был на Солянке, в милиции; дверь и окна приказал заколотить досками; через час в ОГПУ был отдан приказ, вычеркивавший это отделение из списка московских: нет такого

номера и впредь не будет, рецидив охранки, а не Рабоче-Крестьянская милиция...

...В сороковых годах отделение восстановили: Сталин никогда ничего никому не прощал, оттого что все помнил...

...После окончания спектакля Сталин так же медленно поднялся, подошел к барьеру ложи и обвел взглядом зал, в котором было так тихо, что пролети муха гудом покажется...

Он видел на лицах зрителей растерянность, ожидание, восторг, гнев — каждый человек — человек: кому нравится спектакль, кто в ярости; нет ничего опаснее затаенности; церковь не зря обращалась к пастве, но не к личности — слаба Духом, падка на Слово...

Сталин выдержал паузу, несколько раз похлопал сухими маленькими ладонями; в зале немедленно вспыхнули аплодисменты; он опустил руки; аплодисменты враз смолкли; тогда, не скрывая усмешки, зааплодировал снова; началась овация, дали занавес, на поклон вышли плачущие от счастья актеры.

Сталин обернулся к Станиславскому и, продолжая медленно подносить правую ладонь к мало подвижной левой, сказал:

— Большое спасибо за спектакль, Константин Сергеевич...

В правительственном кабинете при ложе был накрыт стол — много фруктов, сухое вино, конфеты, привезенные начальником кремлевской охраны Паукером; напряженность сняло как рукой; Немирович-Данченко оглаживал бороду, повторяя: “Я мгновенно понял, что Иосиф Виссарионович в восторге! Я это почувствовал сразу! Как всякий великий политик, — нажал он, — товарищ Сталин не может не обладать даром выдающегося актера”.

Сталину явно не понравилось это замечание, он отвернулся к Станиславскому и, принимая из рук Паукера бокал с вином, чуть кашлянул, поднялся; сразу же воцарилась тишина.

— Скажите, Константин Сергеевич, сколь часто наши неучи из Политпросвета мешают вам, выдающимся русским художникам?

Не ожидая такого вопроса, Станиславский словно бы споткнулся:

— Простите, не понял...

Сталин неторопливо пояснил:

— Вам же приходится сдавать спектакли

политическим недорослям, далеким от искусства... Вас контролируют невежды из охранительных ведомств, которые только и умеют, что тащить и не пущать... Вот меня и волнует: очень ли мешают вам творить эти проходимцы?

И тогда Станиславский, расслабившись, потянулся к Сталину, словно к брату, сцепил ломкие длинные пальцы на груди и прошептал:

— Иосиф Виссарионович, тише, здесь же кругом ГПУ!

...Когда Сталин, отсмеявшись ответу Станиславского, сделал маленький глоток из своего бокала и сел, рядом сразу же устроился Немирович-Данченко; мгновенно просчитав их отношения во время всего вечера, понимая, как Немирович тянется к нему, Сталин обернулся к Владимиру Ивановичу:

— А вот как вам кажется: опера Глинки “Жизнь за царя” имеет право на то, чтобы быть восстановленной на сцене Большого театра?

Немирович-Данченко растерянно прищурился, поправил “бабочку” и в задумчивости откинулся на спинку стула.

Сталин, улыбнувшись, придвинулся к нему

еще ближе:

— Говорите правду, Владимир Иванович...
Мне — можно, другим — рискованно.

— В конечном счете это опера не о царе, но о мужике Иване Сусанине. Это гордость русской классики, Иосиф Виссарионович. Восстановление этой оперы вызовет восторг артистической Москвы...

Сталин достал трубку, закуривать не стал, спросил задумчиво:

— И Мейерхольд будет в восторге?

— Конечно!

Сталин покачал головой:

— Хм... Любопытно... Впрочем, если Троцкий так поднимает на щит Есенина, почему бы Мейерхольду не повосторгаться Глинкой?

О Немировиче подумал: “Чистый человек, весь наружу, наивен, как ребенок”.

...Спустя почти десять лет генсек предложил на Политбюро восстановить оперу Глинки, переименовав ее в “Ивана Сусанина”.

...Мехлис позвонил Самуилу Самосуду — в ту

пору ведущему дирижеру театра и сказал, что эту оперу будет готовить Голованов, заметив:

— Кстати, вас правильно поймут, если вы порекомендуете заслуженную артистку Веру Давыдову на роль в этом спектакле...

Мехлис знал, что это будет приятно “хозяину”, поэтому решение принял самостоятельно: “кто не рискует — тот не выигрывает...”

Спустя некоторое время Сталин, — зная все обо всех заслуживавших мало-мальского внимания, — позвонил домой больному, затравленному Булгакову: “Может, вам поехать в Париж? Отдохнете, подлечитесь, как бы здесь не доконали, а?”

Булгаков ответил, что русский писатель умирает дома, за любезное предложение поблагодарил, и только; странный человек; насильно мил не будешь.

Положив трубку, Сталин тем не менее усмехнулся: завтра об этом звонке будут знать в Москве; что и требовалось доказать.

2

...Я никогда не забуду руки Сталина — маленькие, стариковские уже, ласковые...

...Звонок “вертушки” раздался около одиннадцати; отец подошел к аппарату точное подобие того, что стоял в ленинском кабинете, копия с фотографии Оцупа.

— Слушаю.

— Бухарина, пожалуйста.

— Его нет, — ответил отец, дежуривший в кабинете редактора “Известий”.

— А где он?

— Видимо, зашел к Радеку.

— Спасибо.

Голос был знакомым, очень глухим, тихим.

Через две минуты снова позвонили:

— Что, Бухарин не вернулся? У Радека его нет...

— Наберите номер через десять минут, — ответил отец, — я поищу его в редакции.

Он, однако, знал, что Николай Иванович уехал к Нюсе Лариной, своей юной, красивой жене, матери маленького Юры: поздний ребенок — родился, когда Бухарину исполнилось сорок

семь, копия отца, такой же лобастый, остроносенький, голубоглазый.

Отвечать по “вертушке”, что редактора нет на месте, — невозможно: руководители партийных и правительственных ведомств могли разъезжаться по домам лишь после того, как товарищ Сталин отправится на дачу; обычно это бывает в два-три часа утра, когда на улицах нет людей, абсолютная гарантия безопасности во время переезда из Кремля за город.

Отец поэтому решил — от греха — уйти из кабинета, где стояла “вертушка”. Тем более в типографии у дежурного редактора Макса Кривицкого возникли какие-то вопросы, есть отговорка: перед самим собой, не перед кем-то...

Вернулся он что-то около трех, лег на диван, положив под голову подушку-думку Николая Ивановича, — тот привез ее из Америки, спал на ней в тюрьме, куда его посадили в семнадцатом: не хотели пускать в Россию, знали, что этот человек может стать одной из пружин новой революции, страшились...

В три часа снова раздался звонок “вертушки”. Голос был тот же, тихий, глухой:

— Алло, простите, что я вас так поздно тревожу, это Сталин говорит...

Отец, испытывая звенящую горделивую радость, сказал, что он счастлив слышать Иосифа Виссарионовича, какие указания, что следует сделать?

— Бухарина, видимо, в редакции уже нет? Пусть отдыхает... Тем более сегодня уже воскресенье... Ваша фамилия? Кто вы?

Отец ответил, что он помощник Бухарина, заместитель директора издательства “Известий”.

— Вы в курсе той записки, которую Бухарин направил в Политбюро? — спросил Сталин.

— Мы готовили ее проект вместе с Василием Семеновичем Медведевым.

— А не Бухарин? — Сталин чуть усмехнулся.

— Николай Иванович попросил нас сделать лишь экономические расчеты, товарищ Сталин.

— Завтра в три часа приезжайте ко мне на дачу, вас встретят, передадите Бухарину и редколлегии мои соображения по поводу записки...

...Я отчетливо помню, как отец усадил меня в свой маленький “фордик” подарок Серго Орджоникидзе за организацию выставки “Наши

достижения к XVII партсъезду”. Называли эту машину “для молодоженов с тещей”, потому что впереди было два места для шофера и пассажира, а сзади откидывался багажник, куда мог поместиться третий человек; вот журналисты и шутили: “Там будет сидеть теща с зонтиком, чтобы не промокли во время дождя”, — “фордик”-то был открытый, без крыши...

...Через восемнадцать лет, в январе пятьдесят четвертого, когда приговор по делу отца, осужденного особым совещанием на десять лет тюремного заключения во Владимирском политическом изоляторе, был отменен и его вернули в Бутырку, меня вызвал полковник Мельников, ставший — во время переследствия — другом отца.

— Обыск проводили только в вашей квартире?
— спросил он.

— Верно, — ответил я.

— А у бабушки, где в ту ночь почивал отец, обыска не было?

— Не было.

— Скажите, а какие-нибудь отцовские документы могли остаться у вашей бабушки?

— Какие именно?

Мельников помолчал, потом глянул на молчаливого соседа по кабинету, размял папиросу и, наконец, ответил:

— Ну вот, в частности, одним из пунктов обвинения вашего отца было то, что он получил в подарок от Бухарина автомобиль... А ваш отец утверждает, что был премирован лично товарищем Орджоникидзе...

— А что, нельзя запросить архив Наркомтяжпрома?

— Наркомтяжпрома нет, и архива нет, — ответил Мельников. — Я пытался...

Я вспомнил пятидесятые, ночь двадцать девятого апреля, когда подполковник Кобцов руководил группой, приехавшей забирать отца, вспомнил, как на полу квартиры валялись книги, документы, записки, фотографии, вспомнил, как возле моей левой ноги лежала бумажка: приказ по Наркомтяжпрому о награждении отца автомобилем, подписанный Серго, вспомнил, как, страшась самого себя, я осторожно подвинул каблуком эту бумагу под тахту, а потом, когда обыск кончился, все документы и фотографии отца (с Серго, с генералом Берзариным в Берлине, с маршалом Говоровым, с

Константином Симоновым, с Ворошиловым) увезли, а комнату опечатали, я ночью вскрыл форточку, влез в бывший кабинет и достал из-под тахты этот приказ Серго — все, что у меня отныне оставалось от памяти...

— А что, если я вам найду этот документ? — спросил я Мельникова. — Это во многом поможет делу?

— Во многом. Отпадет одно из самых серьезных обвинений: согласитесь, подарок от троцкистского диверсанта Бухарина не украшает советского человека...

...Итак, отец усадил меня в свою машиненку, и был он тогда одет в черную косоворотку с белыми пуговичками, в коричневый пиджак, и было ему тогда двадцать девять (одногодок моей старшей дочери Дунечки. Спаси Бог их поколение от повторения ужаса тех лет) и счастливо шепнул:

— Сынок, я еду к товарищу Сталину!

И каким же одухотворенным было его лицо, когда он шепнул мне это, сколько в нем было мальчишеского счастья и невыразимой гордости от того, что увидит “фельдмаршала революции”, “вождя народов”, “творца нашего счастья”, “отца всех одержанных нами побед”...

...Оставив машину возле ворот сталинской дачи, назвал свое имя, несуразно ответив на то, как ему, вытянувшись, откозыряли люди из личной охраны Сталина, отец попросил их поглядеть за мною: “пусть мальчик поиграет рядышком, только б далеко не отходил, ладно?”

...Спустя восемнадцать лет, вернувшись из тюрьмы, он рассказал мне все, что произошло дальше, — в подробностях.

По песчаной дорожке к дому Сталина его сопровождали два человека в форме; Сталина отец увидел издали: тот окапывал молодое грушевое деревцо, делал он это неторопливо, вкрадчиво, но одновременно резко нажимая маленькой ногой на остро отточенную лопату, входившую на штык в жирную, унавоженную землю.

— Знаешь, — говорил мне потом отец, — в его фигуре, особенно когда он наваливался на лопату, чувствовалась литая сила; он наслаждался этой работой, и что-то неестественное было в его единении с жирной землей, тем более что рядом стояла легкая плетеная мебель: столик и три кресла; на столике лежал утренний номер “Известий”, придавленный ножницами, коробкой “Герцеговины Флор”, трубкой и спичками.

— Садитесь, — Сталин кивнул на кресло, словно бы спиной заметив, что отец подошел к нему.

Вогнав лопату в землю, он обернулся, достал платок, вытер маленькие руки, сел рядом и, неторопливо набив трубку папиросным табаком “Герцеговины”, заговорил:

— Мы в Политбюро познакомились с запиской Бухарина... Он предлагает понизить стоимость газеты с пятнадцати копеек до десяти потому, что вырос тираж, газета стала популярной в народе... Передайте редколлегии, что это наивное предложение... Надо просить Пэ-бэ не понижать стоимость номера, а повышать его... До двадцати копеек... Так мы решили... Возможно, Бухарин согласится с нашим мнением... Я бы просил также передать редколлегии ряд моих соображений и по поводу верстки номера... Она пока что оставляет желать лучшего, слишком недисциплинированна, разностильна, точнее говоря... Вы правительственный официоз, поэтому, если первая полоса несколько суховата, надо взрывать ее изнутри — темой передовицы, например. Не стоит бояться острых тем, больше критики, нелицеприятной критики... Газета Должна быть единым целым — это азы пропаганды и агитации. Поэтому, во-вторых, на следующей полосе должен быть фельетон, публицистика,

развивающая основные тезисы передовицы. И не бойтесь, наконец, и на третьей полосе, где печатаются иностранные материалы, заверстать что-либо, связанное с основной темой номера... Ну а четвертая — в ваших руках, ищите в ней свою, “известинскую” индивидуальность... Вот, собственно, и все...

— Спасибо, товарищ Сталин, я передам редколлегии все ваши пожелания.

Сталин заметил движения отца за мгновение перед тем, как он решил встать с кресла.

— Погодите, — сказал он, пыхнув трубкой. — У меня к вам ряд вопросов...

— Слушаю, товарищ Сталин...

— У вас дети есть?

— Да, товарищ Сталин, есть.

— Сколько?

— Сын — Юлька...

В это время к Сталину подошел высокий крутолобый человек, склонился к нему:

— Звонит Калинин... По поводу сегодняшнего мероприятия... Что сказать?

Сталин неторопливо пыхнул трубкой, положил ее на стол, поднялся и подошел к дому. Отсутствовал он минут пятнадцать; когда вернулся, лицо его чуть побледнело, улыбочивых морщинок вокруг глаз не было, жестче обозначился рот под седеющими усами.

— Трудно содержать ребенка? — спросил Сталин, словно бы все то время, что говорил с Калининым, помнил ответ отца.

— Нет, товарищ Сталин, нетрудно.

— Вы сколько получаете в месяц?

— Партмаксимум, “кремлевку”...

— А жена?

— Она библиотекарь... Зарабатывает сто десять, вполне обеспечены...

— Хорошо, а могли бы вы содержать двух детей на этот ваш максимум?

— Да, товарищ Сталин, смог бы!

Сталин усмешливо посмотрел на отца, но глаза были строгие, несмеющиеся, желтые:

— У грузин есть присказка: “один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын”...

Смогли бы содержать на ваши оклады трех детей? Честно отвечайте, не пойте...

— Конечно, товарищ Сталин, смогли бы...

Сталин, неотрывно глядя в глаза отца, спросил.

— Почему вы ногами егозите? В туалет надо?

— Нет, спасибо, товарищ Сталин... Просто у меня в машине сын остался, я поэтому несколько волнуюсь..

— А что же вы его не привели сюда? Разве можно бросать ребенка? Пойдите-ка за ним...

...Я помню большие, крестьянские руки отца, помню, как он прижал меня к себе, помню, каким горячим было его лицо, помню его восторженный шепот:

— Сейчас ты увидишь товарища Сталина, сынок!

...А я не смог поднять глаз на вождя, потому что торжественное, цепеняще робкое смущение обуяло меня...

Но зато я увидел его маленькие руки, ощутил их ласковое тепло, Сталин легко поднял меня,

посадил на колени, погладил по голове и, кивнув на газету, что лежала на плетеном столике, сказал отцу:

— Этот номер “Известий” возьмите с собою... Тут есть ряд моих замечаний по верстке... Может быть, пригодятся Бухарину и Радеку... Счастливой дороги...

...Кортеж “паккардов” обогнал нас у въезда в Москву — Сталин возвращался в Кремль.

В это же время, только с другой стороны, в Кремль въехала машина с зашторенными стеклами, в которой сидели Каменев и Зиновьев; их привезли из внутренней тюрьмы для встречи со Сталиным и Ежовым; вчера они наконец — после двухлетнего заключения — согласились писать сценарий своего процесса, который закопает Троцкого, докажет его фашистскую сущность — взамен заверения о том, что им будет сохранена жизнь, а малолетних детей выпустят из тюрьмы.

...А когда был принят указ, запрещающий аборт, я помню, как отец ликующе говорил всем, кто приходил к нам:

— Как же он мудр, наш Коба, как замечательно он готовит решения! Сначала советуется с рядовыми работниками, выясняет всю правду, а

только потом санкционирует указ государства!
Мы непобедимы нерасторжимостью связи с
вождем, в этом наша сила!

Все, конечно, с ним соглашались.

Бухарин, однако, глядя на отца с грустной
улыбкой, восторги его никак не комментировал,
молчал.

Только дядька Илья, один из самых молодых
наших комбригов, покачал головой:

— Сенька, ты что, как тетерев, заливаешься?
Ты хоть знаешь, где аборт запрещают? Только в
католических странах! Там, где последнее слово
за церковь. У них за аборт в тюрьмы сажают, а
коммунисты поддерживают женщин, которые
выступают за то, чтобы не власть, а она сама
решала, как ей следует поступить... Кому охота
нищих да несчастных плодить?! Отец побледнел,
резко поднялся:

— Что, повторения двадцать седьмого года
захотел?! Неявится?!

...Тогда, в ноябре двадцать седьмого, после
разгона демонстрации оппозиционеров — отец
принимал в ней участие — братья подрались.

Жили они на Никитской, дом этот сейчас

снесен; длинный коридор, заложенный поленцами, — еще топили печи; затаенные коммуналки с толстыми дверями — до революции здесь размещался бордель, греховная любовь требует тишины. Комнатушка деда и бабки была крохотной, метров десять, курить выходили в коридор, здесь и схватились, когда Илья, выслушав восторженный рассказ отца, хмуро заметил: “Что ж ты раньше Каменева не тащил за ноги с трибуны, когда его портреты на демонстрации выносили? Как сказали “ату!”, так и бросились...” “Ты на кого?! — отец задохнулся от гнева.- Ты кого защищаешь?! На кого голос поднимаешь?!” — “Да ни на кого я голос не поднимаю... Голова у тебя есть? Есть. Ну и думай ею, а не повторяй чужие слова, как попка-дурак”.

Отец тогда схватился за полено. Илья легко выбил полено у него из рук, вертанул кисть за спину, повернулся и уехал к себе в Люберцы — он был там начальником НКВД. С тех пор братья два года не разговаривали, тяжело переживая размолвку.

Помирились на похоронах общего друга, Васи Сироткина, его зарезали во время командировки на коллективизацию, виновных не нашли, а двое сирот у него осталось, Нюра и Зина, погодки.

...После того как в “Известиях” начали печатать сообщения о расстреле троцкистско-

фашистских наймитов Каменева и Зиновьева (заместителя Ленина по Совнаркому и председателя Коммунистического Интернационала), лицо Бухарина сделалось желтым, измученным; он лег на землю (это было на Памире), взял свечку, зажал ее в руках, сложил их на тоненькой груди и, посмотрев на отца, усмехнулся:

— Семен, я похож на покойника, а?

3

Федор Николаевич Петров, один из старейших большевиков, консультировал в шестидесятых мой роман и фильм “Пароль не нужен” о Блюхере и Постышеве.

Он-то и рассказал мне историю, которая теперь подтверждается косвенными свидетельствами; хочу верить, что вскоре откроются новые обстоятельства, опровергнуть которые невозможно.

— Когда Каменева и Зиновьева сломали, уговорив признаться в том, что они по заданию Троцкого — организовали убийство Кирова, когда, после того как Сталин дал им честное слово, что они не будут расстреляны, если помогут “закопать троцкизм как идейное течение”, суд провели быстро, в суматохе не

проверили “показания” обвиняемых, заранее написанные людьми наркома Генриха Ягоды, тогда и случился трагедийный конфуз, — Петров еще больше прибавил звук в старинном радиоаппарате, стоявшем на его большом письменном столе возле окна, из которого открывался прекрасный вид на Москва-реку и Кремль. — Один из зиновьевцев “признался”, что он приезжал в Копенгаген для встречи с Львом Седовым — сыном Троцкого и останавливался в отеле “Бристоль”. А скорые на розыск датские журналисты через неделю после того, как обвиняемые были расстреляны, опубликовали официальную справку, что отель “Бристоль” был снесен за много лет перед описываемыми событиями, фальшивка чистой воды... Именно тогда Серго потребовал у Сталина нового рассмотрения этого дела с вызовом свидетелей, оставшихся в живых.

Сталин пообещал и сразу же начал готовить второй процесс — на этот раз против заместителей Орджоникидзе Пятакова и Серебрякова. Их обвиняли уже не только в троцкизме и диверсиях, но и в шпионаже. Однако в отличие от Зиновьева (честно говоря, он был слабым, амбициозным человеком, но, понятно, ни в каком терроре не участвовал) Юрий Пятаков никогда не дрался за власть, от оппозиции отошел. Серго утвердил его первым

заместителем народного комиссара тяжелой промышленности — на нем был и Сталинградский тракторный, и Горьковский автозавод имени Молотова, и Кузбасс, и Магнитка, человек действительно горел на работе... Мы все чтим память его брата, Леонида, замученного петлюровцами в девятнадцатом, словом, чистый был человек, чистый и открытый... Как можно было повернуть его на признание в шпионаже? Коммунист, ленинец — и гестаповский шпион? Давить на него, как давили на Каменева — у того осталось двое детей, — трудно, семья у Пятакова не сложилась, жена больна, он и ночевал-то порою у себя в кабинете...

...В поселке “Известий” на Сходне, рядом с той дачей, где жили мы, стоял дом Карла Радека, возглавлявшего иностранный отдел редакции; друг Дзержинского и Розы Люксембург, принимавший участие в спартаковской революции, человек не простой, ядовито-остроумный, он, после того как публично отрекся от Троцкого и был за это возвращен в двадцать девятом году из ссылки, стал одним из тех, кто более всего славил Сталина, причем делал это вдохновенно и талантливо. Он-то и рассказывал тогда: “Коба — человек поразительный! Он узнал, что новый заместитель наркома ютится в крошечной квартирке, и приказал перевезти его

семью в роскошные апартаменты, обставленные чудной мебелью... Вот так Коба относится к тем, кто честно разоружился и порвал с оппозиционерами, поняв чудовищную сущность Троцкого...”

(Когда прошла очередная волна арестов, во время торжественного банкета по случаю дня рождения Максима Горького помрачневший лицом Радек, неотрывно глядя при этом на секретаря ЦК Ежова, произнес тост: “Я пью за нашу максимально горькую действительность...”

Сталин, не выпуская трубки изо рта, сухо посмеялся вместе с Алексеем Максимовичем, который не отпускал от себя Бухарина; лицо последнего порою теряло обычную живость, замирало и чуть желтело, становясь не по возрасту старческим...)

Из квартиры, подаренной Сталиным, Пятакова вскорости и забрали — в один день с Радеком...

Федор Николаевич вздохнул чему-то и, устроившись поудобнее в кресле, словно бы затолкав свое усохшее тело в привычно-малое пространство между спинкой и подлокотниками, снова изучающе-требовательно обсмотрел меня:

— Я-то скоро уйду, а вам надо сохранить

память, только оттого все это и рассказываю, хоть и рискую... Да, да, это так... Каждый, кто прикасается к той поре, — рискует... Словом, Серго Орджоникидзе потребовал устроить ему встречу с Пятаковым... И получил ее... Никто не знает, о чем шла речь, никто, кроме Сталина, потому что тот дал Орджоникидзе слово: “Пятаков не будет казнен...” Но Пятакова, как и Каменева, расстреляли... Серго был в ярости; Ежов ему ответил: “Пятаков жив”. Серго потребовал встречи. Ему пообещали; Ежов уверял наркома: “Юрий (он и после процесса над “шпионом” продолжал так называть Пятакова) перенес шок после фарса, разыгранного норвежцами... Как только он придет в себя, вы увидите его, Григорий Константинович...” Шок действительно был, но не для Пятакова, а для тех, кто писал за него показания: он заученно произнес на суде, что, мол, летал на немецком самолете в Осло на встречу с Троцким. А норвежские социал-демократы опубликовали в газете опровержение: в тот месяц, когда Пятаков якобы летал в Осло, ни один иностранный самолет там не приземлился... ..Серго позвонил Сталину; тот отказался его принять; Серго сказал: “Коба, если нам необходимо развенчать Троцкого, то партии совершенно неужодно избиение ленинцев!” И — начал готовить свое выступление на февральском Пленуме ЦК... Он знал, что его поддержат Постышев, Чубарь,

возможно, Калинин... Он понимал, что Сталин наверняка поднимет на Пленуме вопрос об аресте Бухарина, а тот был его другом... Он допускал, что если открыто и честно сказать Пленуму всю правду, то далеко не все станут поддерживать Сталина, потому что геноцид, начатый против старой гвардии, принял чудовищные формы. Нам предлагали верить в бред, произносимый на скамье подсудимых теми, кого Ленин вел вместе с собою, поручая ответственные должности в самые крутые месяцы гражданской войны и интервенции. Но мы помнили состав нашего первого правительства! Мы-то помнили, кто составлял костяк Политбюро в самые грозные пять лет — с октября семнадцатого! А теперь оказывается, что эти люди уже тогда были предателями! Чего ж они тогда не захватили власть?! Их — при Ленине — было подавляющее большинство! А был ли один я такой памятный?! Да нет! Как минимум, миллион партийцев! И столько же — беспартийных активистов! Это — минимум миниморум! Значит, тогда жили два миллиона людей с кровоточащей памятью — я имею в виду большевиков со стажем. А их семьи?! Понимаете, каким резервом обладали те, кому был дорог Ленин? Понимаете, как шатки тогда были позиции Сталина, несмотря на то что Ежов с его рукавицами душил всех, кто продолжал оставаться личностью, — то есть, зная правду, не

отрекся от памяти?! Понимаете, что Серго — с его авторитетом — мог повернуть ход истории, прекратив чудовищный террор?! Понимаете, что он мог потребовать у Пленума выполнения воли Ленина о снятии Сталина с поста генерального секретаря?!

...Вторым человеком, консультировавшим наш фильм “Пароль не нужен”, был генерал Штеменко. С громадными усами, удивительно тактичный, с печально-доброжелательной улыбкой, неторопливый в словах, он во время одной из встреч со съемочной группой, всматриваясь в лицо Николая Губенко, игравшего роль Василия Константиновича Блюхера, заметил:

— Я попрошу подобрать все архивы по маршалу... Надо бы вам поискать чего-то еще для этого замечательного образа.

Я сказал тогда, что все архивы уничтожены; пояснил, что находил огрызки документов, просматривая отчеты ветеринарной службы дальневосточной армии, там чудом сохранились резолюции Блюхера, в которых удивительно прочитывался человек, его моральный стержень, мягкость и непримиримость.

Штеменко усмешливо покачал головой:

— Мы свои архивы не трогали, через три дня вам их покажут.

Однако, когда мы увидались через три дня, он заметил:

— Да, к сожалению, вы правы... Архивов нет, все уничтожено, надо собирать по памяти.

...Иван Степанович Конев, служивший в армии Блюхера командиром бронепоезда, а затем ставший начальником оперативного отдела штаба его фронта, показал мне маленькую фотографию главкома легендарного ОКДВО — Особого Краснознаменного Дальневосточного военного округа — Блюхера, стоявшую у него на столе:

— Я не убирал ее с этого места и после того, как маршал пал жертвой клеветы.

...Маршал Блюхер не пал жертвой клеветы, его надо было убрать, ибо он посмел сказать друзьям, что не судил Тухачевского, хотя его именем был подписан приговор одному из самых блестящих военачальников двадцатого века. “Суда не было, — повторял он, — Тухачевского и Якира просто убили...”

Василий Константинович покончил с собой сразу после ареста, чтобы не оказаться

сломанным, чтобы не предать свое прошлое чудовищными показаниями на очередном процессе, эти показания убивали не жизнь, а то дело, которому он служил, — Революцию...

...Петров устало поднял руку, указал пальцем на книжные стеллажи и, прикрыв веки, сказал:

— Посмотрите речи Сталина на февральско-мартовском Пленуме тридцать седьмого года... Обратите внимание, что там впервые не было привычных “бурных аплодисментов, переходящих в овацию”. Просто — “аплодисменты”... И главный удар Сталин нанес по не названному Серго — по “хозяйственным успехам, которые привели к беспечности”... Серго постоянно говорил, что чем больше наши успехи, тем лучше живут люди, чем они явственнее ощущают прямую связь между трудом и благополучием, тем меньше будет врагов в стране, нет поля для вражды, то есть пришло гражданское замирение... А Сталин, наоборот, гнул свою линию: “чем больше успехов, тем сильнее сопротивление врагов”... А ведь Бухарин еще не был арестован, объявил голодовку, написал письмо членам ЦК о своей невиновности, сидел в кремлевском зале — кандидат в члены ЦК! Именно тот Пленум должен был решить его судьбу... “Бухарин — любимец партии” — не случайная фраза... Ее помнили... После того как Пятаков сказал на суде

про аэродром в Осло и всему миру стало понятно, что второй процесс тоже построен на фальшивках, Сталин решил, что Пятаков это сделал намеренно — прокричал о своей невинности из камеры тюрьмы. И помог ему в этом, считал он, Серго... — Петров говорил тяжело, с одышкой, часто замолкал, словно собираясь с силами. — А за Серго действительно была школа в Лонжюмо, Ленин открыто называл его своим другом. Серго никогда — в отличие от Сталина — против Ленина не выступал, он шел за ним ледоколом...

— А дело Мдивани? — спросил я. — Помните, как Ленин тогда обрушился на Серго? С какой яростью, открыто?!

Петров раздраженно пожал плечами:

— Политическая борьба предполагает чувство! Не надо из Ленина делать икону! Как всякий гениальный стратег, он был при этом ранимым человеком... Он не считал возможным скрывать того, что думал! Увидав, что вытворили его любимцы Каменев и Зиновьев в октябре семнадцатого, он прилюдно назвал их “проститутками”! Но ведь через пять дней после этого Каменев стал Председателем ВЦИКа! То есть президентом революционной России! (Петров сказал это именно так, “революционной”, строкой Блока.) А Зиновьев —

секретарем Петроградской парторганизации! А Троцкий, которого — опять-таки поделом Ленин называл в свое время “иудушкой”, по его же, ленинскому, предложению был единогласно избран народным комиссаром иностранных дел, хотя сначала именно Ленин предложил его — председателя Петроградского Совета рабочих депутатов на пост Председателя Совнаркома! А Троцкий отказался! Троцкий сказал, что Председателем Совнаркома может быть только один человек — Ленин! Это же правда! Как ее ни прячь, она все равно не исчезнет... А как Ленин “колотил” Бухарина и Дзержинского во время Брестского мира?! Но ведь он не предлагал сместить Феликса Эдмундовича с поста председателя ЧК! А у Бухарина — отобрать редакторство “Правды”! Мы отучились дискутировать! Нас приучили к поранжирному повиновению! Мы поэтому... Нет, вы... Хотя это нечестно. — Петров прерывисто, всхлипываяще вздохнул, — мы, именно мы, вина моего поколения перед вами неизмерна... Мы поэтому не понимаем, как это можно обмениваться резкостями, но при этом продолжать оставаться на одной стороне баррикады... Нам стало важно слово, а не дело... Постепенно победила сталинская семинария, дисциплина казармы...

Медленно, словно бы собирая себя, Петров поднялся, отошел к кровати:

— Словом, говорили, что Сталин поручил начальнику охраны Ежова убить Серго. И Серго был застрелен у себя на квартире... Наиболее доверенным сказали, что Серго покончил с собой — слишком дружил с Бухариным, Рыковым, Пятаковым. Но ведь шила в мешке не утаишь: те, кто первым вошел в квартиру Орджоникидзе, подписали себе смертный приговор, составив акт о том, что в маузере Серго было семь патронов, а пороховой гари в стволе не было... Этих дзержинцев расстреляли, но — через неделю! Понимаете?! И мы узнали правду... И мы поняли: теперь все возможно, время вседозволенности, конец надеждам, крах вере в справедливость... А на похоронах Сталин рыдал на груди того, кто был им убит... А было тогда Серго сорок девять лет... А наркомздрав Каминский, который подписывал официальный бюллетень о “болезни” Серго, был расстрелян, как и все, кто знал трагедию или слышал о ней... Вот так и закончился термидор... А вот я уцелел...

Петров медленно поднял на меня серые глаза, в которых постоянно жили печаль и невысказанный укор:

— Да, я молчал, это правда... Но я и молчал-то для того лишь, чтобы дожить до сегодняшнего дня... Чтобы сохранить для вас мою память... Хоть какую-то, но все же... Притча о гласе вопиющего в пустыне еще ждет своего

толкователя.

4

...Это случилось во время традиционного авиапарада в Тушине.

Рано утром к нам позвонил Бухарин:

— Семен, вы туда едете?

— Конечно, Николай Иванович.

— Слушайте, я ни разу не наблюдал этого зрелища с поля — всегда с трибуны... Заберите-ка меня с собой, а?

Отец заехал за Бухариным, тот взял огромный бинокль, две бутылки боржоми, сказал, что близкие за городом, поэтому бутербродов, увы, не будет, и, задержавшись возле окна, внимательно осмотрел улицу.

— В пятом году, перед тем как уйти с квартиры, я всегда проверялся, нет ли слежки, — улыбнулся Бухарин. — Не думал, что привычка так въедлива... Даже когда меня охраняли как члена Политбюро, порою ловил себя на мысли: отчего сопровождающие не глядят, чисто ли на улице?.. Впрочем, — заключил он, — к несвободе привыкаешь значительно быстрее, странно...

...В ту пору брат моего отца, Илья, комбриг, вступивший в Красную Армию в восемнадцатом году, когда ему было четырнадцать, работал заместителем легендарного начальника московской милиции Буля. В тот день он отвечал за обеспечение и координацию деятельности ОРУДа. Поскольку на парад приехало все руководство во главе со Сталиным — Молотов, Ежов, Ворошилов, Калинин, Каганович, Андреев, Микоян, Хрущев, Чубарь, Рудзутак, Косиор, Постышев, регулировка движения на трассе от Кремля до Тушинского аэродрома была делом весьма ответственным, как и порядок на поле: “...страна кишмя кишит троцкистско-зиновьевскими диверсантами и шпионами, они готовят теракты против товарища Сталина, бдительность и еще раз бдительность, враг не дремлет...”

В отличие от отца, прослушавшего курс у Бухарина в ту пору, когда Николай Иванович возглавлял Институт красной профессуры, Илья был самоучкой, закончил четыре класса в деревне Березине, потом занимался в школе рабочей молодежи, будучи уже командиром эскадрона. Отличала его военная косточка, поэтому, заметив отцовский “фордик” (редакционный пропуск разрешал заезжать на поле), он подошел, никак не предполагая, что человек в косоворотке и кепчонке, устроившийся

на капоте машины, не кто иной, как Бухарин; вскинув ладонь под козырек, Илья отрапортовал:

— Товарищ член Центрального Исполнительного Комитета, обстановка на поле нормальная, никаких происшествий не было!

Бухарин недоумевающе посмотрел на отца.

— Это мой брат, — чуть смущенно пояснил отец.

— Ах, это и есть ваш легендарный Илья?! — Бухарин протянул ему руку. Приятно познакомиться...

И в это как раз время над полем аэродрома пронесли самолеты; Бухарин, взбросив бинокль, словно любопытный ребенок, приткнулся к окулярам; проводив серебряные машины, подивившись слаженной стройности их треугольника, он случайно мазнул биноклем правительственную трибуну и увидел, как Сталин неотрывно рассматривает в бинокль его, Бухарина.

Не оборачиваясь к отцу, Николай Иванович негромко сказал:

— Семен, пусть ваш брат продолжает работу на поле, а вам бы лучше сесть на землю...

Подстелите газету, вы хорошо сидите по-азербайджански, как настоящий кунак...

...Через двадцать минут Илья вернулся и, снова взяв под козырек, обратился к Бухарину:

— Товарищ член Центрального...

— Да вы проще, — досадливо попросил Бухарин, не отрывая глаз от бинокля, обращайтесь ко мне по-человечески...

— Николай Иванович, — товарищ Сталин просит вас подняться на правительственную трибуну, мне поручил это передать вам замнаркомвнудел товарищ Берман...

Бухарин снова мазанул окулярами места под полотняным тентом, где наблюдали парад члены Политбюро, и снова уткнулся в бинокль Сталина, направленный точно на него.

— Передайте Берману благодарность, — ответил он. — Но мне очень интересно наблюдать парад как журналисту, среди зрителей...

...За неделю до того, как Бухарина — прямо с заседания пленума ЦК отправили в тюрьму, Илью арестовали.

Следователь, молоденький парень, мобилизованный в НКВД после расстрела практически всего прежнего аппарата дзержинцев, внимательно посмотрел на те места в петличках дядькиной гимнастерки, где еще утром были эмалированные ромбы, отличительный знак комбрига, и очень тихо сказал:

— Нам все известно о вашей преступной связи с врагом народа Бухариным. Вы знаете законы, поэтому нет нужды разъяснять, что чистосердечное признание о совместной вражеской деятельности с троцкистским прихвостнем облегчит вашу участь.

— Я видел Бухарина один раз в жизни, — ответил Илья. — На Тушинском аэродроме... Я подошел, чтобы приветствовать его, как полагается по уставу...

— Как вы его узнали среди десятков тысяч трудящихся? По условному знаку? Или было заранее обговорено место встречи?

— Да не было ничего обговорено!

— Кто привез Бухарина в Тушино?

— Не помню.

— Кто вам его показал?

Илья усмехнулся:

— Вы с какого года?

— Здесь мы задаем вопросы, — так же тихо и корректно ответил следователь. — А вы отвечаете...

— Вам двадцать два, — сказал Илья. — Не больше. Значит, в двадцать девятом вам было четырнадцать, и вы помните, что портреты Бухарина выносили на Красную площадь наряду с портретами других членов Политбюро...

— И вы не препятствовали этому?

— Чему?

— Прославлению одного из диверсантов и убийц?!

— Да разве член Политбюро может быть диверсантом и убийцей?!

— Прошу ответить на конкретный вопрос: вы, лично вы, не препятствовали прославлению Бухарина?

— Слушай, ну что ты, ей-богу, вола крутишь?
— Илья вздохнул. — Скажи, что произошло, чего

ты от меня хочешь, и на основании этого, когда я пойму суть дела, станем говорить по-людски...

— Это что, призыв к стовору? Так вас надо понимать? Повторяю: с какого года вы поддерживаете конспиративную связь с врагом народа Бухариным, формы, пароли, явки?! Пока не ответите на эти вопросы, из кабинета не выйдете.

И — начался “конвейер”: один следователь сменял другого, работала бригада; в конце вторых суток Илья почувствовал, что готов на все, лишь бы соснуть хоть десяток минут. И вот в то именно время вошел Иван Коробейников, они вместе участвовали в польском походе, в двадцатом.

Он долго сидел за столом, обхватив голову ладонями, потом подбежал к Илье, схватил его за шею, поднял со стула и закричал:

— Ты сколько времени будешь издеваться над людьми, вражина сучья? А?! Ты сколько времени будешь жопой вертеть?!

И, приблизив свое лицо к лицу Ильи, одними губами прошептал:

— Спи, а я буду орать.

И, обматерив комбрига, швырнул его на стул.

Илья сразу же уснул, как выключился. Он не знал, сколько времени спал, но очнулся от того, что Коробейников хлестанул его по лицу, заорав истошно:

— Встать! Я что говорю, вражина сучья?!

Илья, не понимая, что происходит, смотрел на него изумленно.

— Почему не выполняете указаний следователя? — услышал он чей-то голос у себя за спиной; с трудом обернувшись, увидел замнаркома Бермана. Тот стоял рядом с Николаем Ивановичем Ежовым — маленьким, похожим на калмыка, в скромной гимнастерке и мягких сапогах.

Раскачиваясь, Илья поднялся:

— Я не сплю двое суток, товарищ заместитель наркома.

— Гусь свинье не товарищ, — отрезал Берман. — Будете и дальше отпираться, пенять придется на себя. Сколько лет сыну? Пять? Смотрите, останется сиротой! Пролетарская диктатура умеет прощать заблудших, но беспощадна к вражинам.

Ежов кивнул Коробейникову:

— Продолжайте работать, соблюдая корректность, — и вышел; Берман — следом.

В ту ночь Илья спал четыре часа, это дало ему возможность вынести еще двое суток “конвейера”, пока не пришел черед Ивана; и снова тот, надрываясь, кричал, а Илья, отвалив голову на спинку стула, спал.

После этого, на исходе пятого дня, Илью отправили в тюрьму: “с этим типчиком надо работать более серьезно”.

И первым, кого он увидел в камере, был тот самый первый молоденький следователь — уже без кубаря в петлице и с сорванным с рукава гимнастерки шевроном НКВД; Илья заметил его сразу, хотя вместо четырех человек было набито более тридцати; сидели и лежали по очереди, пока остальные, кто покрепче, стояли, подпирая друг друга спинами, — какой-никакой, а отдых.

Сосед Ильи, судя по следам от ромбов, — начдив, то и дело усмехался, как скалился:

— Я — троцкист, а?! Ты понимаешь?! Троцкист! Все, кто был в Красной Армии с восемнадцатого, — троцкисты! Сами с Троцким на трибунах стояли и в президиумах сидели, а

нам — отдувайся! Кто виноват, что Ленин с собою в Смольный одних врагов народа привел?! Кто?! Мы?!

Ночью комдива и еще семерых военных вызвали по списку.

— Прощай, браток, — сказал он Илье и дал ему мундштучок, который не выпускал изо рта. — Нас ведут кончать. И тебя кончат, если не признаешься в какой дури... Соглашайся на то, что Климента Ефремовича критиковал, шутовал над ним, но только дай им что-нибудь... Я поздно это понял — чего с меня взять, троцкист долбаный, дурак...

...Через три месяца Илья признался, что однажды слышал антисоветский анекдот в трамвае, рассказывал старик в очках, с родинкой на носу, увижу где сразу на него укажу, виноват, что не задержал на месте, потерял бдительность, готов отвечать по всей строгости закона.

Решением особого совещания ему дали пять лет, и он был этапирован во Владивосток; там, вокруг вокзала, уже ждали отправки в ванинский порт более тридцати тысяч зэков, спали на земле, где кто как устроится...

Осмотревшись, Илья понял, что урки наверняка пришьют его за чекистскую форму, —

“сука”, а особенно за следы от ромба — “большая сука”. Поэтому, вспомнив молодость (хотя во время ареста ему было всего тридцать три), бои с бандформированиями, когда его под видом блатного мальчишки засылали в состав группировок Булак-Булаховича, он и присел к уркам — кинуть “очко”.

То ли урки были квелые, то ли карта шла Илье, то ли он умело тасовал, но к утру снял банк, унес наволочку с деньгами, купил валенки, ватник, теплую шапку, кожаную куртку; свою форму продал фраерам и через месяц оказался на руднике “Запятая” — в двухстах километрах от Магадана.

С повозок им сбросили колючую проволоку, чтобы сами обнесли зону, и простыни: “Устраивайте себе ледовые палатки, ничего, перезимуете, челюскинцы трудней жили...”

И началось его лагерное житье.

В забое работал вместе с секретарем Ленинградского горкома (доходил, арестовали в тридцать шестом) и начальником политотдела Сталинской железной дороги — Василием Борисовым.

Секретарь горкома тощал на глазах, сох; однажды шепнул Илье:

— Не в коня корм, Илюшка... Меня несет, язва... Как горох поем, так он целеньким и выходит... Горошинка от горошинки... Добро пропадает... Промывай и ешь. Тут выжить надо, для этого все сойдет, скоро этот бред кончится, погоди, дай только узнать обо всем товарищу Сталину...

Илья начал промывать дерьмо, заливал кипятком и, зажмурившись, ел горошинки...

Когда секретаря похоронили — в забое, сил не было тащить наверх, начальник политотдела сказал:

— Илья, с полгода протянем, глядишь, а потом сдохнем... Надо идти в побег, нести правду Москве: здесь же цвет партии гибнет.

— А чего ты жрать в побеге будешь? — спросил Илья. — До железной дороги не дочапаешь, до Магадана две сотни верст, замерзнем...

— Говорят, есть путь... Помнишь чекиста Бурова? Он еще с помощником Дзержинского, товарищем Беленьким, дружил? Ну, он и говорил, что отсюда было два побега, выходили на материк...

— А где этот Буров?

— Похоронили.

— А Беленький?

— Того в Москве расстреляли, он сокамерникам говорил...

— А ты поверил? Здесь же ссылок не было, тут ссылку начали год назад создавать, Вася, сказки это...

— Так что ж, так и подыхать здесь?!

— Не надо, — усмехнулся Илья, — стоит пожить...

Помог, как и всегда, случай: единственный трактор, который забросили в лагерь еще летом тридцать шестого, сломался. Начальник выстроил ээков:

— Кто исправит машину — дам килограмм масла и три буханки хлеба.

Илья шагнул из строя:

— Я механик, гражданин начальник...
Позвольте попробовать?

— Попробовать? Нет, пробовать не разрешу. А заперешь машину до конца, сядешь в бур.

— Слушаюсь, гражданин начальник, согласен.

Было это уже в декабре, мороз лютый, за сорок; Илья развел костры вокруг трактора, взял в помощники начальника политотдела Васю, хотя тот в технике был ни бум-бум, а дядька как-никак кончил шоферские курсы и по праву считался одним из самых лихих водителей Москвы.

Словом, трактор они сделали, начальник был человеком справедливым, дал полтора килограмма масла и четыре буханки.

“Я это мороженое масло топором рубил, ел кусками и Васю политотдельского заставлял, рассказывал потом дядька. — Я блюю, и он блюет, понял-нет?! “Не могу, — стонет, — кишки выворачивает”. А я ему: “Жри! Надо кишки-то смазать, дать им витамин, доходягой в побег не уйдешь!” — “А как же товарищи?! Им что принесем?!” Ну, я тогда и озлился: “Здесь двадцать тысяч наших товарищей, понял-нет?! Хочешь накормить их полтора килограммами?!”

— Однако же, — заключил Илья, — в сердце у меня была тяжесть, неудобство какое-то, хоть лагерь быстро лечит от сентиментальностей. Отнесли мы маслица старикам-доходягам, политкаторжанам, что еще с Бакаевым сидели, с Рудзутаком и Эйхе, понял-нет?.. А самый

уважаемый человек, вроде “пахана”, был у нас, политиков, член Реввоенсовета одиннадцатой армии, фамилии не помню, только знаю, что он с Иваном Никитовичем Смирновым дружил, — красный командир был, его одним из первых посадили, в начале тридцатого... Так вот, полизав масла и выслушав слова Васи, что надо нести правду в Москву, он засмеялся беззубым ртом: “Дурачок ты! Сталину, говоришь, намерен нести правду?! Да все, что происходит здесь, угодно одному лишь человеку — Сталину! Он же всех тех должен истребить, кто помнит Октябрь, кто знает, как он перед Троцким заискивал, как он в его честь в газете “Севзапкоммуны” в восемнадцатом году статью написал, мол, когда говорим “товарищ Троцкий”, подразумеваем “Красная Армия”. Когда говорим “Красная Армия”, всем ясно: “товарищ Троцкий”... Вы погодите, погодите, он еще какие-нибудь документы напечатает, каких слабаков об колено сломит и будет процесс против Ленина как немецкого шпиона! Что контра не успела сделать, он доделает...” Вася тогда аж побелел, масло у него вырвал, сухой обозвал, фашистом... Словом, решили мы с Васей идти в побег в июне тридцать девятого, понял-нет? К счастью, в ту пору меня на трактор перевели, так мы с Васей то хлеба своруюем, то масла, подкармливали стариков-ленинцев, да и себе на побег делали запасы... Главное, чтоб в Москву прорваться,

иначе следующим летом тут вообще никого не останется, одно кладбище, понял-нет? Назначили мы день побега, а тут утром, понял-нет, начальник лагеря объявляет, что приговор по моему делу отменен: Сеньку-то в партии восстановили после расстрела Ежова, ну, он и пошел за меня молотить... Да, понял-нет... Это я еще тебе смешного не рассказал, у нас там смеху тоже хватало, страх вспомнить...

...На Новодевичьем кладбище на могильной плите моего деда Александра Павловича до сорок девятого года было выбито: “Прости, не успел. Илья. 20-го мая 1940 года” — дядька вернулся в Москву через три дня после похорон его отца.

Я помню, как он — худой, с ввалившимися щеками — посмотрел на обеденный стол, накрытый у нас на Спасо-Наливковском, и спросил отца:

— А водка где?

Бабушка Дуня принесла пол-литра, Илья накрошил черный хлеб в большую тарелку, нарезал туда лук, залил все это водкой и начал есть большой ложкой молча и сосредоточенно. Он съел всю тарелку; пододвинул сковородку с яичницей и салом, поковырял вилкой и усмехнулся:

— А ведь правду говорил наш пахан-политик.
...Он продолжал усмехаться, уплетая яичницу, а по щекам его катились быстрые слезы.

Хотя Каменев и Зиновьев согласились — после двух лет мук в камере встретиться с членами Политбюро, Сталин не торопился их принимать, хотя понимал, что это — капитуляция его врагов.

Он ждал смерти “защитничка” — Максима Горького; пока тот жив, процесс невозможен.

Сразу после похорон Горького он приказал привезти своих врагов в Кремль.

Медленно расхаживая по кабинету, Сталин глухо говорил, обращаясь к своим бывшим коллегам по Политбюро; обращался не к ним — к Ягоде:

— Если товарищи поведут себя на процессе так, что смогут раз и навсегда похоронить троцкизм как идейное течение, если они докажут миру, что Троцкий не остановится ни перед чем в борьбе против Державы нашей и партии, тогда, конечно, аресты бывших оппозиционеров будут немедленно прекращены, члены их семей отпущены домой, а сами товарищи (Сталин наконец поднял глаза на Каменева и Зиновьева) после вынесения приговора, который будет однозначным, отправятся на дачу, чтобы продолжать свою литературную работу, а затем будут помилованы...

Сталин снова посмотрел на Каменева, остановившись посреди кабинета, и в уголках его рта можно было прочесть горькую, но в то же время ободряющую улыбку.

Каменев поднялся:

— Мы согласны.

Он сказал это человеку, который в семнадцатом считался его другом; во всяком случае, он, Сталин, именно так называл себя в редакции “Правды”, где они — до ареста Каменева Временным правительством — были соредакторами...

Каменев считался другом Сталина и в двадцать четвертом, когда они вели совместную борьбу против Троцкого: “члены ленинского Политбюро Зиновьев, Каменев и Сталин — идейные продолжатели дела Ильича”.

И вот спустя двенадцать лет против Сталина, организовавшего убийство Кирова, стоял Каменев, согласившийся принять на себя вину за это убийство и прилюдно растоптать свое прошлое...

...Через два месяца Каменева расстреляют.

...Миронова, присутствовавшего при том, как

Сталин дал слово сохранить жизни Каменева и Зиновьева, расстреляют через семь месяцев.

...Затем расстреляют Ягоду, которому Ежов дал честное слово не казнить его, если он обвинит Бухарина.

Самого Ежова убьют в камере вскоре после расстрела Бухарина...

6

Писатель Александр Воинов рассказал мне поразительную историю:

— В конце ноября сорок первого я получил недельный отпуск — после контузии и награждения орденом. Поехал в Куйбышев, там тогда находилась наша вторая столица. Встречаю на улице Киселева, режиссера кинохроники по кличке Рыжий.

— Хочешь посмотреть мой новый фильм? — спросил Киселев.

— Конечно, хочу.

И мы отправились в то здание, где было выделено несколько комнаток кинохронике. В маленький просмотровый зал натолкалось народа видимо-невидимо; фильм смотрели

затаенно, многие плакали; мягкие хлопья снега царственно и беззвучно ложатся на брусчатку Красной площади, на Мавзолей, на шинели красноармейцев и командиров, на осунувшееся лицо Сталина и его соратников товарищей Молотова, Берия, Кагановича, Щербакова, Микояна... Снежное безмолвие, тревожная тишина, ожидание... Только одно живое во всей панораме дыхание людей; кто простужен — ловит воздух ртом; счастливики в валенках и теплом белье дырявят студеной воздух струйками теплого белого пара из носа.

Апофеозом фильма был тот момент, когда Сталин приблизился к микрофону и произнес свою короткую речь. Я представил себе счастье красноармейцев моего батальона, когда они увидят эти кадры: Отец — в скромной солдатской шинели, осунувшийся, но такой родной и любимый — говорит со своими Детьми...

— Слушай, — спросил я Киселева, жадно вглядываясь в лицо Вождя, — а почему у него пар не идет изо рта?

Киселев окаменел. Я почувствовал, как замерло его плечо; он словно бы не слышал моего вопроса, а мне тогда исполнилось двадцать шесть, дипломатии учен не был, свято верил догмам: “ничего не таи в душе, спрашивай все, что не понял, товарищи помогут разобраться во

всем”.

— Нет, но почему все же у товарища Сталина не идет пар изо рта? продолжал удивляться я. — У всех шел, а у него — нет...

Сзади, из напряженно-тревожной темноты, кто-то спросил требовательным шепотом:

— Кто задал этот вопрос?

Киселев яростно толкнул меня коленом, закашлялся и показал глазами на дверь; поднимаясь со стула, шепнул, стараясь скрыть свои слова надрывным кашлем: “Иди за мной”.

Недоумевая, я вышел; в коридоре поразился мертвенной бледности Киселева: “Немедленно возвращайся на фронт, — прошептал он. — Забудь об этом просмотре! Никому не говори ни слова! Знаешь, кто о тебе сейчас спрашивал?! Беги на вокзал, и чтоб ноги твоей здесь не было! Я твою фамилию не помню: какой-то журналист, и ты молчи, что мы дружили, ясно?!”

С этими словами Рыжий вернулся в зал. Я по-прежнему не очень-то понимал, что произошло, но то, как он был испуган, как выступили мелкие веснушки на его побелевшем лице, как тряслись руки, подсказало мне: “дело пахнет керосином, я прикоснулся к чему-то запретному, надо

драпать”.

И я бегом бросился на вокзал, сел в проходящий эшелон и вернулся на фронт, терзаемый безответным: “так почему же не шел пар из рта товарища Сталина?”

...С режиссером Киселевым я познакомился летом пятьдесят седьмого в Кабуле, где работал на торгово-промышленной ярмарке переводчиком с пушту и английского.

Киселев делал документальный фильм об этой ярмарке; престиж кинематографиста был тогда еще достаточно велик, он властно командовал директорами павильонов, переводчиками, гостями, организовывая нужные ему сцены; пару раз я переводил ему, когда он снимал эпизоды с наиболее уважаемыми пуштунами.

Вот к нему-то я и обратился с вопросом: “Так почему же не шел пар изо рта товарища Сталина?”

С той поры, когда он снимал легендарный парад, прошло пятнадцать лет, Сталин умер, пришло время Хрущева, в стране настала кратковременная оттепель, люди начали постепенно — со страхом и неверием — пытаться изживать из себя ввевшийся страх и привычное неверие друг в друга.

Киселев ответил мне не сразу; мялся, глядя на меня, молодого еще совсем; потом вдруг отчаянно махнул рукой:

— Ладно, расскажу... Наркомкино Большаков назначил меня ответственным за съемку парада на Красной площади... Честь огромная... Сняли... В ту же ночь проявили на Лиховом переулке... Кадры — поразительные, однако речь Сталина на звуко пленку не записалась... Представляете?! Нет, вы себе этого представить не можете... Это гибель не только всех нас, всех наших родственников и друзей, но и разгром кинохроники: “злостный саботаж скрытых врагов народа, лишивших человечество уникального документа”... Именно тогда я и начал сидеть, в те страшные минуты, когда звукооператор, едва шевеля посиневшими губами, сообщил эту новость.

“Как это могло случиться? — спросил я его, придя в себя. — Ты понимаешь, что нас ждет? Ты понимаешь, что мы — объективно — льем воду на мельницу Гитлера?” — “Да, — ответил мой товарищ едва слышно. — Понимаю... Но ведь я не имел времени, чтобы проверить кабель, все ж было в спешке... Снег... Наверное, что-то не сработало в соединительных шнурах... Я за своих ребят ручаюсь головой, ты ж их тоже знаешь, большевики, комсомольцы...” — “Рыков тоже называл себя большевиком, — ответил я ему, — а

на поверку оказался гестаповским шпионом”.

— Словом, — продолжил Киселев, — я поехал к председателю комитета кинематографии Ивану Григорьевичу Большакову. Тот выслушал меня, побледнел, походил по кабинету, потом, остановившись надо мною, спросил: “Какие предложения? Кто виноват в случившемся?” — “Виноват я. С меня и спрос. Предложение одно: сегодня ночью построить выгородку декорации в одном из кремлевских залов и снять там товарища Сталина”. — “А как объяснить, что съемка на Красной площади была сорвана?” — “Съемка не сорвана. Кадры сняты уникальные. Но из-за того, что у нас не было времени заранее подготовиться к работе, один из соединителей микрофона отошел — снег, обледенело, — охрана постоянно гнала наших людей к камере, подальше от Мавзолея...”

Большаков снова походил по кабинету, потом снял трубку “вертушки”, набрал трехзначный номер: “Товарищ Сталин, добрый вечер, тревожит Большаков... Кинохроника сняла замечательный фильм о параде на Красной площади... Однако из-за неожиданных погодных условий звук получился некачественный. Интересы кинематографа требуют построить выгородку в Кремле и снять фрагмент речи в Грановитой палате. Что? Выгородка — это часть Мавзолея, товарищ Сталин... Да... Именно так...